

Д.Н. Мамин-Сибиряк

**Автобиографическая записка.
Воспоминания**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-94
ББК 63.3-8
М22

М22 **Мамин-Сибиряк Д.Н.**
Автобиографическая записка. Воспоминания / Д.Н. Мамин-Сибиряк – М.: Книга по Требованию, 2021. – 108 с.

ISBN 978-5-4241-3204-9

Мамин-Сибиряк - подлинно народный писатель. В своих произведениях он проникновенно и правдиво отразил дух русского народа, его вековую судьбу, национальные его особенности - мощь, размах, трудолюбие, любовь к жизни, жизнерадостность. Мамин-Сибиряк - один из самых оптимистических писателей своей эпохи.

ISBN 978-5-4241-3204-9

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© Д.Н. Мамин-Сибиряк, 2021

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

Дмитрий Наркисович Мамин родился в 1852 году в Висимо-Шайтанском заводе, Верхотурского уезда, Пермской губернии, где его отец служил священником. До 14 лет он оставался дома, где тихо и мирно катилась скромная трудовая жизнь небогатого заводского попа. Это был худенький и болезненный мальчик, развившийся под влиянием чтения книг прежде своих лет. У отца Д. Н. была своя небольшая библиотека из лучших авторов, а потом всевозможные книги доставались от заводских служащих. По вечерам в скромном поповском домике происходило чтение вслух, — это был отдых после дневных трудов. Любимой книгой, которую мать Д. Н. сама читала десятилетнему сыну, были «Детские годы Багрова внука» С. Аксакова, потом следовали путешествия, сочинения Гоголя, Некрасова, Тургенева, Гончарова и т. д. Для себя большие читали «Современник» и Добролюбова, и Д. Н. еще детским ухом прислушивался в далеком медвежьем углу к отзвукам и отголоскам великого движения конца 50-х и начала 60-х годов. Вообще вся обстановка жизни скромной поповской семьи носила не совсем заурядный характер и дала уму и характеру Д. Н. ту зачатку, которая дается только у своего очага любящими руками.

С 14 лет началась самостоятельная жизнь. Отцу и матери хотелось отдать детей в гимназию, но не было средств; приходилось обратиться к alma mater¹ — бурсе. «Ты теперь, братец, отрезанный ломоть», — говорил на прощанье отец, благословляя на тяжелый подвиг бурсацкой науки. В духовном училище и в семинарии Д. Н. пробыл 6 лет, а потом поступил в петербургскую медицинскую академию, где слушал лекции 4 года и по болезни вынужден был перейти в университет на юридический факультет. В университете пришлось пробыть всего один год, потому что смерть отца заставила работать для семьи, оставшейся без всяких средств. В 1877 году Д. Н. вернулся на Урал, где и остался «некончившим студентом». В течение четырех лет он существовал частными уроками в г. Екатеринбурге, а с 1882 года исключительно отдался литературе, продолжая жить там же и приезжая в столицу только на время.

Писательством Д. Н. начал заниматься довольно рано и в семинарии был одним из первых по части семинарских сочинений. В Петербурге, когда пришлось перейти на «свой хлеб», он три последних года перебивался работой в газетах и мелких журналах — был репортером, печатал мелкие рассказы и повести. В это время писались рассказы и повести для «толстых» журналов, но они возвращались «за неудобностью». Такие неудачи, однако, не мешали начинающему автору высидывать большой роман «Приваловские миллионы», который с небольшими перерывами писался около 10 лет.

Особенно важное значение в жизни Д. Н. имел тот четырехлетний период времени, который служил переходом от университета к специально литературной деятельности. Все это время Д. Н. провел на Урале, где теперь перед его глазами выступила с особенной рельефностью бойкая и оригинальная жизнь этого края. Впечатления раннего детства, встречи и столкновения во время каникул, знакомства по охоте, затем путешествия вверх и вниз по реке Чусовой, странствования по приискам и заводам — все это теперь дополнялось новыми наблюдениями, знакомствами и личным опытом. Нужно было долго пожить вдали от родины и

потолкаться среди разного чужого людя, чтобы окончательно выяснить себе то, чем отличалась жизнь уральского населения. За внешними формами выступило глубокое внутреннее содержание, обусловливавшееся историей Урала, его разнообразными этнографическими элементами и особенно богатыми экономическими условиями.

Первый рассказ Д. Н., напечатанный в «толстом» журнале под псевдонимом Д. Сибиряк, появился в марте 1882 года («В камнях», журнал «Дело»), когда автору было уже 30 лет. Затем быстро последовал целый ряд рассказов, очерков, повестей и романов. Такое обилие напечатанных статей объясняется, во-первых, тем, что они писались в течение десятилетнего периода, во-вторых, необыкновенным богатством материалов, которые давала жизнь Урала, и, в-третьих, необходимостью осветить сейчас же некоторые «злобы дня» и свои уральские проклятые вопросы. Темы бытовые и психологические поэтому перемешивались со статьями публицистического характера и этнографическими очерками. Работа многих лет печаталась рядом с произведением нескольких дней.

Из напечатанных статей Д. Н. мы можем указать на романы: «Приваловские миллионы» («Дело», 1883), «Горное гнездо» («Отечественные записки», 1884), «Жилка» («Вестник Европы», 1884) и «На улице» («Русская мысль», 1886), а потом на повести и очерки с психологическими темами: «В худых душах» («Вестник Европы», 1882, декабрь), «Переводчица на приисках» (там же, 1883, апрель), «На шихане» (там же, 1884), «Авва» («Дело», 1884), «Башка» («Русская мысль», 1884), «Родительская кровь» («Вестник Европы», 1885), «Гроза» («Наблюдатель», 1885) и «Поправка д-ра Осокина» («Русская мысль», 1885).

Остальные рассказы удобнее разделить по содержанию: «В камнях» («Дело», 1882) и «Бойцах» («Отечественные записки», 1883) описывается сплав по р. Чусовой, в «Золотухе» («Отечественные записки», 1883), «Золотая ночь» («Наблюдатель», 1884) и «Осип Иванович» («Русская мысль», 1885) — приисковая жизнь, в «Лётных» («Наблюдатель», 1886) — сибирские беглые, в «На рубеже Азии» («Устои», 1882), «Все мы хлеб едим» («Дело», 1882) и «Максим Бенелявдов» («Дело», 1883) — быт уральского духовенства, в «Последней веточке» (приложение к «Неделе», 1885) — старообрядцы и в «Из уральской старины» («Русская мысль», 1885) — помещичий быт.

Кроме этого, Д. Н. в 1881–1882 годах напечатал в «Русских ведомостях» целый ряд фельетонов «От Урала до Москвы», а с 1884 года в «Новостях» печатаются его «Письма с Урала». Мелкие статьи и рассказы печатались и печатаются в разных столичных и провинциальных изданиях, как: «Волжский вестник», «Екатеринбургская неделя», «Развлечение», «Саратовский листок», «Саратовский дневник».

В течение четырех лет, 1882–1886 годы, Д. Сибиряком напечатано очень много, и необходимо разобраться в этом материале, который может затруднить читателя по своему разнообразию. Сначала мы скажем несколько слов о романах. Первым по времени явились «Приваловские миллионы», над которыми автор с небольшими перерывами работал около десяти лет и по разным обстоятельствам, о которых здесь распространяться не место, все-таки не «доработал» темы. Как все первые произведения начинающих авторов, тема этого романа была задумана очень широко, и, собственно, в настоящем своем виде «Приваловские милли-

оны» представляют только последний, заключительный роман из тех трех, которыми автор предполагал в исторической последовательности очертить преемственное развитие типов уральских заводчиков. В первом романе выступал основатель и родоначальник всей фамилии Тит Привалов, один из тех удивительных типов «первых заводчиков», коих создал XVIII век на Урале: ум, железная воля, самодурство, жестокость, дикое великодушие — одним словом, добро и зло в этих людях перемешалось самым удивительным образом. Этот первый роман должен был закончиться пугачевщиной, которая захватила уральские заводы. Во втором романе, действие которого относится к сороковым годам настоящего столетия, фигурируют выродившиеся наследники; это время беспримерной по своей чудовищности роскоши, мотовства и всяческого безобразия, не сдерживаемых ничем. В этих рамках должен был выступить разгар крепостного режима, как он вылился специально на Урале. В третьем романе, который напечатан — «Приваловские миллионы», — выведен последний из Приваловых, человек, который несет в своей крови тяжелое наследство и который под влиянием образования постоянно борется с унаследованными пороками. В общем, он повторяет «раздвоенных» русских людей, у которых хорошие намерения и заветные мечты постоянно идут вразрез с практикой. Таким образом, эта приваловская эпопея должна была захватить собой полный цикл развития приваловского типа, и, конечно, голая тема еще не дает того, что должно было вылиться в формах, красках и действии.

Роман «Горное гнездо» служит в настоящем своем виде только введением к другому роману, действие которого должно было разыграться в столице. Но последнему намерению не суждено было осуществиться, так как журнал, где напечатано было «Горное гнездо», прекратил свое существование, а печатать продолжение в другом журнале автор нашел неудобным. Таким образом является роман «На улице», где автор сделал непростительную ошибку, — в этом последнем перемешались две темы: с одной стороны, пред читателем проходят лица из «Горного гнезда», а с другой — представители «улицы». Первая тема осталась недоконченной, вторая только затронута. Третий роман — «Жилка» — является бытовой картиной из жизни далекого уральского захолустья, где случайное, дикое богатство погубило не одну хорошую семью, крепкую старинными устоями. Наконец, последний роман — «На улице» — рисует нравы и типы того исключительного мирка, который расположился лагерем во всех больших столицах, — здесь свои нормы жизни, своя уличная логика и свои типы. По нашему мнению, здесь автор только затронул тему.

Кроме упомянутых романов, Д. Сибиряком написан целый ряд мелких очерков и рассказов, из которых можем указать только на имеющие психологическую подкладку: «В худых душах», «На шихане», «Родительская кровь», «Поправка д-ра Осокина» и т. д. Остальные рассказы носят или этнографический характер, или принимают вид мелких фотографий. Местные интересы здесь выступают с особенной ясностью, и поэтому такие рассказы можно отнести к еще нарождающемуся отделу беллетристики, именно — областному.

ИЗ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО ВОСПОМИНАНИЯ

ОТРЕЗАННЫЙ ЛОМОТЬ

В жизни каждого человека бывают решающие моменты, те «дни посещения», когда происходят многознаменующие душевные перевороты. Для меня именно таким явился серенький августовский денек, когда я проснулся на чусовской пристани Межевая Утка.²

В большой и светлой гостиной, выходявшей окнами на Чусовую, на столе уже кипел самовар, и около него собрались все действующие лица: мой отец, мой старший брат Николай, его товарищ Николай Тимофеич и хозяин дома Федор Петрович Мазурин. Тут же вертелись двое хозяйских детей, мальчик и девочка, которые с детским любопытством следили за совершавшимся событием. Все отъезжавшие были одеты по-дорожному и торопливо допивали чай. Федор Петрович выходил несколько раз в переднюю и отдавал кому-то приказания. Это был высокий, русоволосый господин с румяным лицом и слегка вившимися темно-русыми волосами.

— Чемоданы уложены? — слышалось из передней. — Хорошо... Не забудьте черпаки для воды. Как шитик?³

У моего отца было тревожное выражение, и он все поглядывал в окно.

— Как бы не зарядило ненастье... — повторял он несколько раз.

— Нет, погода разгуляется, — успокаивал Федор Петрович. — До Кашкинского перебора не успеете доплыть, как солнышко выглянет. Я уж знаю...

Мне очень нравился этот Федор Петрович, как замечательно простой и добрый человек. Он так хорошо улыбался, когда говорил, и несколько раз гладил по головке маленькую розовую девочку.

Чай был кончен. Главные действующие лица — брат и Николай Тимофеич, пятнадцатилетние подростки, имели немного смущенный вид, как артисты, которые за кулисами приготавливаются к своему первому выходу на сцену. Брат Николай был бледный и худенький темноволосый юноша, а Николай Тимофеич — белокурый, широкий в кости крепыш с такими умными серыми глазами. Отец вез их в Пермь для поступления в духовную семинарию, — они только что кончили духовное училище в Екатеринбурге. Брат держался как-то равнодушно, а Николай Тимофеич, видимо, стеснялся незнакомой обстановки.

— Все готово, — заявил Федор Петрович, выглядывая в окно.

— Ну, господа, пора... — торопил отец.

По русскому обычаю, когда оделись по-дорожному, все присели на минутку, помолились и начали прощаться. Помню, как отец обнял меня крепко-крепко, благословил и сказал:

— Кланяйся маме... Тебе на днях тоже нужно будет ехать. Будь умным...

Мы вышли на берег Чусовой, которая катилась красивой излучиной, — справа ее подпирала река Утка, а впереди точно загораживала дорогу гора Красный Камень. Противоположный берег сплошь был покрыт густым хвойным лесом. Самая пристань очень красиво разметала свои бревенчатые избы по угору. На стрелке, где Утка сливалась с Чусовой, стояла караванная контора и был устроен громадный шлюз, за которым строились и оснащивались барки-коломенки. Весной, во время сплава, эта пристань жила самой кипучей жизнью, а потом точно засыпала на целый год. Меня удивляло больше всего то, что дальше с этой пристани не было никакой колесной дороги, точно здесь кончался

весь свет.

У берега стоял шитик, около которого столпилась кучка любопытных. Багаж был уложен в носу шитика и прикрыт рогожкой.

— Ничего, погодка разгуляется, — повторял Федор Петрович, глядя на хмурившееся осеннее небо, с которого сыпался мелкий, как пыль, осенний дождь «сеножной».

Мы еще раз попрощались, и отец с улыбкой проговорил:

— Дальние проводы — лишние слезы... Прощайте!

Как сейчас вижу отца, одетого в черную осеннюю рясу из тяжелого драпа, с широкополой черной шляпой на голове. Он был высок ростом, широк в плечах, а костюм делал его еще массивнее. Как сейчас вижу его бледное лицо, строгое и доброе, с серыми, добрыми глазами и большой, окладистой русой бородой, придававшей ему какой-то особенно патриархальный вид. Для меня лично слово «отец» связано с представлением именно такого отца, сильного, ласкового, доброго и всегда серьезного. Только дети чувствуют в полной мере эту спокойную мужскую силу, красивую в каждом своем движении.

Брат и Николай Тимофеич уже заняли свои места на скамеечке посреди лодки и пробовали весла, причем у брата было недовольное лицо, — он не отличался особенной энергией, а предстояло на лодке сделать по реке больше трехсот верст. Конечно, был свой расчет на быстроту течения горной реки, но все-таки в виду предстояло ехать больше недели.

Отец занял место на корме, и шитик тихо отвалил от берега, а потом его подхватила сильная речная струя и понесла вперед, к Красному Камню. Мы стояли на берегу и долго махали фуражками. Шитик с каждой минутой делался все меньше и меньше, так что, наконец, трудно было разглядеть отдельные фигуры. Вот он огибает уже мыс, который с левого берега подвинулся к самому Красному Камню, — еще несколько томительных минут, и лодка скрылась за поворотом, точно бойкая горная река проглотила ее. Первое ощущение, которое меня охватило, — это ощущение одиночества. Мне хотелось побежать по берегу, догнать лодку и крикнуть: «Папа, возьми меня с собой...» Что-то такое сдавило горло, и я почувствовал себя таким одиноким, маленьким и беззащитным.

— Ну, малыш, пойдем... — вывел меня из тяжелого раздумья Федор Петрович. — Нужно закусить, а там поедешь в Висимо-Уткинск. Лошади за ночь отдохнули, живо доедешь...

Я ничего не понимал, охваченный своим детским горем, и повиновался механически, как манекен. Раньше я относился к этим проводам как-то легкомысленно и только сейчас понял всю важность случившегося. Слезы так и подступали к горлу, но я сдерживался, потому что — «плачут только девочки». А одиночество точно все больше и больше накапливалось, застилая все остальное, даже Федора Петровича, который говорил что-то такое в мое утешение.

Вернувшись в комнату, я почувствовал новый прилив детского горя, потому что каждая мелочь напоминала о разлуке с дорогими людьми. Вот стоит недопитый второпях стакан чая; на этом стуле сидел в последний раз отец; на столе осталась забытая им в дорожной суете люстриновая коричневая ряса; брат со свойственной ему рассеянностью забыл на окне завернутые в бумагу «подорожники», которые мать приготовила специально для него, и т. п.

Пока закладывали лошадей, я стоял у окна и смотрел на горную красавицу

Чусовую, которая унесла дорогих сердцу людей. Какая она действительно чудная, эта Чусовая! От нее так и веяло подавленной силой, точно вот эти зеленые горы посылали эту силу в чужую, теплую даль, как дорогой подарок.

II

Дорога с Межевой Утки до родного Висима шла через Висимо-Уткинский завод и сама по себе решительно ничего особенного не представляла. Пара крепких «киргизок» быстро несла легкую долгушку; разбитной заводский кучер весело посвистывал, и двадцать верст промелькнули незаметно. Меня удивляло только одно, именно, что этот кучер решительно ничего не хотел замечать и, видимо, оставался совершенно равнодушным ко всему случившемуся. Это было возмутительно, и я к концу дороги начал его ненавидеть. Мне казалось, что он нарочно притворяется. Бедный, милый папа, где-то он плывет на своем шитике?.. Меня радовало только одно, что, как предсказывал Федор Петрович, погода действительно разгулялась, и выглянуло такое ласковое осеннее солнышко.

Висимо-Уткинский завод походит на все маленькие уральские горные заводы: заводский пруд, под ним — фабрика, на горке — белая каменная церковь, по гористым берегам реки Утки и пруда точно рассыпаны уютные заводские домики. Лес был близко, и стройка везде была хорошая. За фабрикой на берегу реки Утки прятался в зеленом саду низенький господский дом, где жил старичок-управитель Степан Яковлевич, который в разговоре употреблял странную поговорку: «Я говорю: да, любезнейший!» Когда он сердился, поговорка прибавлялась чуть не к каждому слову. Недалеко от господского дома — заводские конюшни, где стояли две знаменитые лошади, — одну звали «Не хочу», а другую — «Не пойду». Все эти мысли проходили у меня в голове, пока долгушка поднималась на горку к церкви и огибала ее, чтобы остановиться у деревянного домика в три окна, где жил наш знакомый заводский служащий Никон Терентьич, женатый на сестре Николая Тимофеича. Это был красавец мужчина, черноволосый, румяный, высокого роста.

— Придется малость обождать, — заявил он после расспросов об отъезде отца. — Ужо кто-нибудь поедет в Висим и тебя захватит...

Но я не захотел ждать. До Висима было всего девять верст, и дорога шла уже горами.

— Я пешком дойду, Никон Терентьич...

— Что же, можно и пешком, — согласился Никон Терентьич довольно равнодушно. — Дождя нет...

Мне показалось, что он относится ко мне уже иначе, чем вчера, когда мы были у него вместе с отцом. У меня зародилось впервые сознание собственной ничтожности. Да, не будь отца, и я для Никона Терентьича имел бы не больше значения, чем та осенняя муха, которая во время нашего разговора жужжала и билась головой в оконное стекло.

Попрошавшись, я направился пешком домой. Все эти девять верст пути были одной мыслью об отце, которого я уж не увижу до самого рождества.

С раннего детства мне много раз приходилось ездить по этой дороге, и я знал каждую горку, каждый мостик, поворот дороги, менявшиеся картины леса. Сначала из завода нужно было пройти по сплавному мосту на другую сторону довольно узкого заводского пруда, потом шла широкая улица, где жили «кержа-

ки», как называют на Урале раскольников, а там, сейчас за жилком (селеньем), начинались лес и горы. Солнце светило, омытая дождем зелень казалась такой яркой, по сторонам дороги стояли кусты шиповника с ярко-красными созревшими ягодами. Я шагал по стороне, по пробитой пешеходами тропинке, вспоминая, как вот по этой дороге мы столько раз ездили с отцом.

— Милый, бедный папа... — шептал я, прижимая к груди узелок с его рясой, от которой «пахло церковью», то есть ладаном и воском.

Мне почему-то было страшно жаль отца. Наверно, он теперь тоже думает обо мне... Ведь он такой добрый и хороший.

Во время своего пути я шаг за шагом передумал все свое раннее детство, начиная с того времени, когда отец по вечерам носил меня по комнате на руках и что-нибудь рассказывал. Я любил слушать эти рассказы и засыпал на сильных руках. Что ни шаг, то новое семейное воспоминание, и везде отец выступал в ореоле своей спокойной, мужественной любви, которая проявлялась с особенной силой, когда мы, дети, бывали больны. Стоило ему войти в комнату, как уже чувствуешь себя лучше. В болезнях есть своя философия, а в детских болезнях — в особенности. Каждая болезнь точно вносит какое-то внутреннее просветление, и детское сознание взбирается на следующую ступеньку. Отлично помню, что в детстве я совсем не испытывал страха смерти, даже тогда, когда она стояла над головой, и объясняю это тем, что всегда около был отец, спокойный, ласковый, строгий. Это была та сила, за которую хватались слабевшие детские руки, как за свое единственное спасение. Впоследствии я видел много других отцов, которые совершенно терялись в таких случаях и которых успокаивали и утешали больные дети. Моя мать была такого же типа женщина, но она казалась мне более строгой, чем отец, — на ее долю выпадало слишком много мелких будничных забот, и к вечеру, управившись с дневной работой, она была «рада месту», то есть отдыхала за новой работой, как бесконечное шитье. Без работы я не видал ни отца, ни матери. Их день всегда был полон трудом. Все утро отец проводил в заводской школе, где занимался один, а там шли требы, чтение и бесконечная работа с разными церковными отчетными книгами.

Нас в семье было четверо детей. Был пятый, но умер от крупа. Кстати, часто бывает, что все преисполнено щемящего страха всевозможной заразы, особенно за детей. Мой отец, как священник, постоянно имел дело со всевозможными болезнями, когда приглашали его напутствовать умирающих, хоронил и тифозных, и дифтеритных, и скарлатинных; прибавьте к этому, что о мерах предохранения от заразы в то время имелись самые смутные представления, — и все-таки в нашем доме всего был единственный заразный случай с грудным ребенком, когда эпидемия крупа валила кругом детей сотнями.

Вопрос о нашем воспитании, то есть двух старших сыновей, начал занимать отца и мать очень рано, задолго до наступления нашего школьного возраста. Помню по этому случаю споры отца с дедушкой, отцом матери. Отец хотел непременно отдать нас в гимназию, а дедушка именно этого и не желал.

— Пустякам там учат, — спорил он. — Пусть лучше поступят в духовное училище... Там выучат.

Отец всегда страшно волновался, когда разговор заходил о духовном училище. Он был отдан туда восьми лет, прямо в бурсу и не мог вспоминать о своем учении без ужаса.

Был один момент, когда заветное желание отца готово было сбыться. Директор екатеринбургской гимназии, он же и инспектор народных школ по Зауралью, ревизовал народные училища и, между прочим, заехал в наш Висим. Помню его фамилию: Крупенин. Понравилась ли ему школа, которую отец вел без помощи учителя в течение восьми лет совершенно безвозмездно, или, может быть, понравился ему отец, — он дал обещание принять нас в свою гимназию. Для отца это было величайшей радостью. Но, к сожалению, когда наступило время нашего учения, Крупенина уже не было в Екатеринбурге, — не помню хорошенько, перевели его на другое место или он умер. Отчаянию отца не было границ. Непреодолимой преградой для отца являлась плата за учение, составлявшая, по нынешнему, ничтожную сумму в пятнадцать рублей.

— Где же я возьму тридцать рублей за двоих? — повторял он. — Крупенин обещал освободить от платы... А тут еще форма гимназическая, учебники. Нет у меня таких денег, где их взять... Жалованья получаю двенадцать рублей, доходы ничтожные.

Приход у отца был маленький, и соответственно с этим были малы доходы. Деревенские приходы, конечно, были лучше, особенно в благословенном Зауралье, но отец ни за что не хотел туда идти, потому что там священники ходят по приходу с «ручкой», собирая «петровское», «осеннее» и «ругу». Он предпочел свою бедную заводскую независимость.

III

Насколько искренне было в этом случае горе отца, могу привести следующий эпизод.

Когда мечта о поступлении в гимназию была разрушена, отец начал готовить нас троих, меня с братом и Николая Тимофеича, к поступлению в духовное училище. Кстати, Николай Тимофеич был сын нашего заводского дьякона, и я не помню, чтобы его в детстве называли иначе, как Николай Тимофеич. Мне шел двенадцатый год, а Николай Тимофеич и брат были старше меня на два года. Почему-то отец готовил всех нас в один класс, именно в «высшее отделение» тогдашнего дореформенного уездного духовного училища, делившегося на три отделения — низшее, среднее и высшее, с двухгодовым курсом в каждом. Мы готовились целое лето, причем мне это не стоило особенного труда благодаря чудной памяти: мне достаточно было прочитать два раза две-три страницы текста, и я мог повторить их из слова в слово, а латинские и греческие склонения и спряжения я не учил, а только читал, — прочтешь один раз, и дело готово. Через три года, после жестокого тифа, я навсегда утратил эту память.

К осени приготовления были кончены, и отец повез нас троих в Екатеринбург. Брат и Николай Тимофеич выдержали экзамен, а я струсил, оказался слабее и был принят условно. Отец поместил нас троих на одной квартире, а сам уехал погостить на несколько дней к тестю. Вся обстановка бурсацкого учения на меня действовала совершенно ошеломляющим образом, сравнить которое с чем-нибудь невозможно. Я совершенно растерялся, как теряется выпавший из теплого гнезда неоперившийся цыпленок. Отец вернулся и, вероятно, без слов заметил, что дело не ладно. Брат и Николай Тимофеич отмалчивались, ограничиваясь сообщением некоторых смешных эпизодов. Я ничего не говорил. Вечером, когда все улеглись и заснули, отец что-то долго писал. Наша общая постель была

устроена на полу, и я не мог заснуть, потихоньку наблюдая отца. Когда он лег, то удивился, что я не сплю.

— Ты еще не спишь?

— Нет, папа.

— Тебе нездоровится?

— Нет, я здоров... Так...

Дальше я не мог выдержать и горько расплакался. Было совершенно темно, и разговор велся шепотом, чтобы не разбудить брата и Николая Тимофеича. Заглушая рыдания, я рассказывал, как мне было тяжело, какое ужасное место наше «высшее отделение», отчаянная бурса и вообще все училищные порядки. Но меня еще больше поразило, когда я услышал, что отец тоже плачет. Я видел в течение жизни всего два раза, когда отец плакал: первый раз, когда умирал от крупы маленький брат, Петя, причем я искренне удивлялся, что такой большой человек может плакать о такой маленькой козявке, и во второй и последний раз — сейчас. Он обнимал меня, целовал и говорил, что увезет домой, что и сделал. Это возвращение под родную кровлю было омрачено при первом же моем появлении, когда встретивший нас единоверческий священник о. Николай сказал мне:

— Что, брат? Убоялся бездны премудрости и возвратихся вспять... Все равно, брат, ты — отрезанный ломоть, как тебя ни верти.

Таким образом, мне пришлось провести целых два года «без определенных занятий». Старшего брата не было, и мне приходилось коротать время в одиночестве, причем единственным удовольствием были книги. В нашем доме книга играла главную роль, и отец пользовался каждой свободной минутой, чтобы заняться чтением.

— Это мой отдых, — объяснял он.

Кроме классиков, в нашем доме начали уже появляться издания начала шестидесятых годов, и я отлично помню, как отец приносил новые книжки от заводского управителя. Я, конечно, не мог воспользоваться этими новыми книгами и только был свидетелем, как их читали и о них говорили. Вместе с книжками появились и новые люди, причастные заводской администрации, сразу потерявшей после 19 февраля свой исключительно крепостной характер.

В моих воспоминаниях отец так и сохранился, как человек, который вечно был занят и отдыхал только за книгой или газетой.

Но это была одна сторона дела. Как священник, отец, конечно, знал свой приход, как пять пальцев, особенно горе и бедность своей паствы. В нашем доме, как в центре, сосредоточивались все беды, напасти и страдания, с какими приходится иметь постоянно дело истинному пастырю. Эти постоянные разговоры о страданиях придавали общему складу нашей жизни немного печальный характер, а наша скромная обстановка казалась какой-то роскошью. Да, там, за стенами нашего дома, были и голодные сироты, и больные, и обиженные, и пьяные, и глубоко несчастные... Мысль о них отравляла то относительное довольство, каким пользовалась наша семья, и мне глубоко запали в душу слова, которыми отвечал обыкновенно отец, если я приставал к нему с требованием что-нибудь купить:

— Ты — сыт, одет, сидишь в тепле, а остальное — прихоти.

Кажется, что проще этих слов и кто их не знает, но они навсегда остались в моей голове, как своего рода маленькая программа для личных потребностей.